

## ПУБЛИКАЦИИ

*Н.В. Брагинская*

**SISTE, VIATOR!**

**(Предисловие к докладу О.М. Фрейденберг**

**"О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках")**

Было время, когда не признанных при жизни, загубленных, забытых или запрещенных авторов, ученых и мыслителей удавалось издать в каком-нибудь "непрофильном" журнальчике по недогадливости начальства или у него за спиной, радуясь каждой такой из небытия выглянувшей строчке и торжествуя ее и свою победу... И потом было время (оно еще длится), когда привычные препоны пали, и все стало возможно, и пошел поток публикуемых документов, мемуаров, переписки, научной, философской, художественной литературы. Почти тотчас появилась и своеобразная идеология публикаторства без комментария, без аппарата, безо всякой почти работы ради текста, пролежавшего бездыханным десятилетия. "Главное издать, главное ввести новые, ранее недоступные источники в научный оборот, а осмысление и комментарий - дело будущего". Сколько нужно этих новых источников, сколько документального топлива требует "осмысление" и новая историческая концепция, — никто не считал. Но когда созревает, наконец, концепция, фактов ей всегда вдосталь. В пору порождения концепций, как бы ни был велик массив не введенных в научный оборот материалов - а он всегда необъятен, - публикации отходят на второй план. И там, не на авансцене, текст превращается в исторический источник. Именно так. Текст впервые становится историческим источником, когда прочтен и прокомментирован в своей давно угасшей актуальности, а не когда "употреблен" потомками в сиюминутных, пусть даже и прогрессивных целях.

Если бы мне пришлось публиковать доклад О.М. Фрейденберг несколько лет назад, я, наверное, прежде всего постаралась бы сообщить в предисловии, что в архиве ученого осталось много неопубликованных рукописей, что Фрейденберг была незаслуженно забыта, а теперь ее по заслугам оценили и у нас и еще того боле за границей; что занималась она мифологией и теорией сюжета, что была профессором классической филологии в Ленинградском университете, но что труды ее далеко выходят за пределы этой почтеннейшей специальности. Я бы прокомментировала некоторые ее мысли, особенно упирая на близость тех или иных ее взглядов наиболее "прециозным" из современных авторитетов, указала бы на семейное родство с Пастернаками и в той или иной мере постаралась бы обезвредить в глазах читателя принадлежность Фрейденберг к одиозному марризму. Пожалуй, этим набором можно было бы обойтись еще и теперь, если бы не острое своеобразие публикуемой работы, которая остается совершенно

закрытой, даже нелепой вне исторического и биографического контекста. Это подтверждено опытом: читавшие рукопись без предвещаний о ее характере принимали все за чистую монету, даже жанр служебного дневника. Если бы доклад прозвучал сегодня *ex cathedra*, его бы сочли за неуместную выходку, а слова-сигналы о классовой идеологии вызвали бы сожаления о растроченной понапрасну умственной силе. Чтобы ввести в ситуацию появления доклада-дневника, я процитирую неопубликованные мемуары О.М. Фрейденберг, относящиеся к 1931 г.:

«Огромный успех я имела в феврале. Как раз до этого Якубинский предложил всем нам завести служебные дневники с записью хода наших научных работ.

Мне предстояло сделать какой-то доклад у Десницкого. Я придумала сделать его в сатирической форме. Мне всегда казалось чересчур условным, что научные работы должны быть написаны в одной определенной форме, в одном и том же жанре, одним и тем же стилем и языком. Никому ничего не говоря, я сделала вид, что не успела приготовить доклада, а могу зачитать только служебный дневник, где отражается подготовка к этому докладу. Название доклада "О бродячих сюжетах, заимствованьи и о прочем" привлекло массу людей (это происходило в середине февраля). Когда собравшиеся услышали мои извиненья и объясненья, они стали очень разочарованы. Первые строки дневника были восприняты серьезно; последующие - с веселым недоумением; и, наконец, все дальнейшее сопровождалось смехом, интересом и полным удовольствием. В основу я положила свой доклад "Методология одного мотива": я, прикидываясь идиотом, рассматривала причины, которые привели к сходству нескольких сюжетов, с позиций всех теорий, ходивших в то время (и по сейчас живучих), и тем высмеивала их. Одновременность сходства я представила в виде одновременной игры на сценах конструктивного театра, а различия в виде ленты кино. Среди действующих лиц фигурировали Марр, Маторин и присутствовавшие на докладе Десницкий, Якубинский, Азадовский. Доклад получился остроумный и имел большой успех. У Бескиной и Цырлина мои акции очень поднялись» (Воспоминания. Тетрадь 7. С. 1).

Разумеется, и мемуарный фрагмент в свою очередь требует пояснений: кто такие Бескина и Цырлин и почему Фрейденберг важно, как она у них котируется, почему название рукописи доклада и название, упоминаемое в мемуарах, разнятся, что значило делать доклад "у Десницкого"? и т.д. Но опорные вещи мы из мемуаров уже извлекли. Итак, в основе "сатирического" дневника - доклад вполне серьезный. 21 марта 1926 г. Фрейденберг выступила с "Методологией одного мотива" на заседании группы мифов и литературных сюжетов Яфетического института АН СССР<sup>1</sup>. Что же заставило вернуться к теме пятилетней давности и почему была избрана такая странная форма?

Рубеж 20-30-х опознается многими историками советского общества, и - по крайней мере в ретроспективе - теми, для кого это был личный опыт (например, М.М. Бахтин, Л.Я. Гинзбург<sup>2</sup>), как период явного и необратимого перелома всего хода вещей. Уничтожение собственника в деревне, избрание в академики марксистов, закрытие научных обществ, разгром краеведения, литературные дискуссии, истребление профессуры "красной" и усаживание за марксистскую парту

профессуры старой, "чистки" регулярные, как смена времен года, цунами административных реорганизаций, слияний, разделений и переименований научных и учебных учреждений, централизация всего и вся, все большее упрощение общественной жизни через централизацию и упразднение конкурирующих ("дублирующих") структур — все это вплоть до введения служебных дневников в ИРК (Институт речевой культуры), где читался доклад, события, и глубинно, и стилистически связанные между собой.

История советской гуманитарной науки на сегодня не написана, и я не в силах восполнить этот пробел ни фактически, ни концептуально. Те немногие факты и наблюдения, которыми я предваряю данную публикацию, имеют сугубо фрагментарный характер, а вместо выводов могу предложить лишь впечатления. Итак, я попытаюсь сказать несколько слов о том, в какой обстановке, в каком заведении и перед кем читался доклад "О бродячих сюжетах".

Институт речевой культуры возник в 1930 г. на развалинах Института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока им. А.Н. Веселовского (ИЛЯЗВ), существовавшего при Петроградском университете по некоторым сведениям с 1919 г. (под названием Институт имени А.Н. Веселовского). Он объединил под своей крышей едва ли не всех гуманитариев, переживших в Петрограде голод и холод 1919—1920 гг.<sup>3</sup> К середине 20-х годов штат Института доходил до 200 человек, не считая внештатных и технических сотрудников и аспирантов. Хотя высшая школа (университет, прежде всего) была взята под контроль властей безо всякого промедления, исследовательские учреждения отстояли от почты, телеграфа и арсенала на существенно большее расстояние. Система академических гуманитарных институтов в это время еще не создана, и речь может идти лишь об исследовательских учреждениях при вузах. Начиная с середины 20-х годов Главнаука (Управление Наркомата Просвещения), а с конца 1926 г. РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов по общественным наукам, председатели: М.Н. Покровский — 1924—1927 гг., В.М. Фриче - 1927-1929 гг.) все успешнее начинают руководить корпусом ученых, доставшимся от прежнего режима.

Характерны вопросы, которые задавались руководителям ИЛЯЗВ при обсуждении его деятельности в Президиуме РАНИОН в 1926 г.: ведутся ли занятия по диалекту, организован ли кабинет по социологии, существует ли связь с нацменьшинствами и др. При этом было указано, что работа по сравнительной истории литературы носит слишком академический характер, что нужно вводить более современные и практические проблемы, а потому надо реорганизовывать секцию методологии литературы<sup>4</sup>. Реорганизация всегда обозначала уничтожение, и действительно, этой процедуре рекомендуется подвергнуть ту секцию, в которой "господствуют формалисты, идеалисты" - Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов, Ю.Г. Оксман. Годом позже (29 сентября 1927 г.) руководители РАНИОН впервые посещают ИЛЯЗВ и зам. пред. президиума Д. Магеровский предлагает новый план реорганизации: две секции (язык и литература) вместо десяти и лаборатории физиологии речи, публичной речи, кабинет современного русского языка. На следующей встрече (30 ноября) руководство РАНИОН прямо заявляет, что сложная структура затрудняет идеологическое руководство, надо

все упростить, очиститься кадрово и усилить плановые начала. Новые задачи института — это преодоление формализма и социологическое изучение языка и литературы. Для укрепления руководства литературоведением в ИЛ ЯЗВ приглашается старый революционер-подпольщик В. А. Десницкий, "по совместительству" профессор ряда ленинградских вузов, который с октября 1928 г. заведует секцией литературы. Однако осуществление всех этих начальственных планов занимало годы и годы. Многие угрожающие перспективы, помаячив на горизонте, рассеивались, и это казалось торжеством разума. Так, летом 1929 г. в Президиуме РАНИОН обсуждали слияние ИЛ ЯЗВ с Ленинградским институтом марксизма. И признали преждевременным. Но движение шло и шло при этом однонаправленно: через бестолковые реорганизации и переименования прокладывал себе путь процесс превращения всех научных учреждений в обслуживающий власть интеллектуальный придаток бюрократического аппарата. А неспешность этого процесса привела к тому, что вполне или хоть как-то он был осознан, когда дело уже было сделано. В конце 40-х годов Фрейденберг вспоминала:

«Это были годы первой пятилетки, возникновения соц. соревнования, "шести условий товарища Сталина". Это были годы, когда подкрадывавшийся кровавый режим вдруг встал как нечто свершившееся. Мы еще долго не понимали его природы. Все советское общество, вся интеллигенция старались осмыслить происходившие события, верить в их логичность, понять, научиться. (...) В 1931 г. я была уже человеком советским, желавшим вникнуть, понять, уважать и строить новое» (Воспоминания. Тетрадь 7).

Может быть, удастся обнаружить тайные протоколы, в которых коварный план порабощения науки, расплывшийся на десятилетия вперед, обретет своего автора или авторов. Я о нем ничего не знаю и не думаю, что такой план когда-либо существовал. Документы дают картину длительно самонастраивающейся системы. А самое главное "впечатление" (на категорию большего веса, как уже было сказано, я претендовать не могу) состоит в том, что в интересующий нас период ученые были, как правило, частью этой системы, а не только жертвами ее или противниками.

Итак, летом 1930 г. Наркомат Просвещения переименовал ИЛ ЯЗВ в Государственный институт речевой культуры. Преименовывание не было формальным, за ним стояло изменение и состава института, количественного и качественного — он сократился в несколько раз, из него были удалены и ушли сами крупные ученые и старые академики (Е.Ф. Карский, В.Н. Перетц, В.Н. Бенешевич, О.А. Добиаш-Рождественская, Б.М. Ляпунов, В.М. Алексеев, И.Ю. Крачковский, Ф.И. Щербатской, Б.Я. Владимирцев) и пришли "аспиранты", социально отфильтрованные комсомольцы и партийцы<sup>5</sup>. Изменилось и местоположение института, и сфера его интересов. Из ректорского флигеля ЛГУ он переехал в новое здание на пл. Воровского, 5 в помещение Института агитации и вместо кружка по изучению папирологии, которым когда-то руководил В.Н. Бенешевич, групп по теории романа и сюжета или по составлению персидского словаря<sup>6</sup>, вместо всех этих "оторванных от жизни" занятий возникает советское научное учреждение<sup>7</sup>.

Н.Я. Марр уже в 1926 г. сетовал на то, что в ИЛЯЗВ не практикуется коллективная работа ученых, что нет общей работы для специалистов одной а той же теоретической базы, радел "о взаимопомощи в самом процессе научных изысканий"<sup>8</sup>. Собственные интересы Марра, нуждавшегося в огромном количестве специалистов-исполнителей для обслуживания его широкомасштабных идей, с одной стороны, принимали благопристойную форму заботы о создании научных школ, а с другой - "нечувствительно" готовили принудительную коллективных монографий. (Сколько ума, искусства, подлинной виртуозности проявляли затем ученые позднего советского периода, чтобы под видом коллективного, труда заниматься все-таки "своим делом").

А мечты Марра о коллективном начале очень скоро осуществились, правда, ; с уже сильно изменившимся составом специалистов. В конце 1930 г. в только что созданном ГИРК-ИРК проводится чистка бригадой подшефного завода "Вулкан", и на общем собрании ученый секретарь ГИРК Л.П. Якубинский делает доклад с описанием истории института и его состояния на текущий момент. Доклад очень выразителен. Одна из примечательных его черт - преемство с идеями, шедшими от Марра, но доведенными до "оргвыводов".

В первый период - до 1926-1927 гг., как считает Якубинский, не существует еще учреждения, есть только своего рода научное общество, в 1927 г. становится ясно, что нет науки вне политики и начинается борьба с идеалистами, формалистами, механицистами и проч. Таким образом, мы видим, что создание научного учреждения и "борьба" - вещи для Якубинского и его аудитории неразделимые. В это же время возникает Лаборатория прикладной речи, на фоне почти исключительно беспартийной интеллигенции в ней есть уже партийцы и комсомольцы. Л.П. Якубинский, как известно, один из создателей социолингвистики, и его заслуги хорошо известны, однако свои лингвистические интересы в области функционирования языка Якубинский если не формировал, то во всяком случае оформлял в таком ключе, что его деятельность на фоне старой неповоротливой филологии смотрелась как "новая" и исключительно правильно ориентированная. Формалистические грехи молодости (участие в ранних ОПОЯЗовских сборниках) были перекрыты не только огромным административным усердием (Якубинский занимал одновременно множество постов<sup>9</sup>), но главное - обращенностью к запросам Жизни - этого страшного и требовательного божества материалистов. В 1924 г. Якубинский (как, впрочем, и Эйхенбаум) начинает изучать язык Ленина, его публикации в "Коммунистическом университете на дому" или в "Литературной учебе" — это, главным образом, рекомендации тем, кто стал писателем, не научась еще владеть языком. Чрезвычайно поучителен сам хронологический список трудов Якубинского, демонстрирующий резкое изменение в середине 20-х годов тематики публикуемых работ. Якубинский пишет о языке крестьянства и языке пролетариата, одна из его работ называется "Русский язык в эпоху диктатуры пролетариата"<sup>11</sup>, а его научную биографию можно было бы озаглавить "изучение русского языка в эпоху диктатуры", не важно даже чего. «В субботу (...) заседала Лингвистическая секция. На ней обсуждался поступивший от Союза металлистов запрос об этимологии термина "товарищ" и доклад Якубинского (скорее общие его соображения) о

пропаганде яфетидологии в массах: в рабочих клубах, в студенческих кружках, среди докторов, специалистов по лечению носа и горла» (Из письма И.И. Мещанинова - Н.Я. Марру от 3 июня 1929 г.<sup>12</sup>). Отдавал Якубинский дань и яфетидологии, а поддержка Марра в свою очередь позволила направить преобразование обреченного ИЛЯЗВ в такой институт, который максимально отвечал бы интересам, в том числе чисто научным, его ученого секретаря.

"Портрет" Л.П. Якубинского вышел у меня злым, и злым несправедливо. Даже видя собственную пристрастность, не так-то просто выдержать "сострадательное" наклонение равно ко всем персонажам нашей недавней истории. Но о том, что сила, отливавшая формы научной судьбы, сила нечеловеческая, говорят хотя бы посмертные публикации трудов Л.П. Якубинского. И не то даже, что лучшие его работы остались неопубликованными, несмотря на все занимаемые им посты, а то, что их опубликование и после смерти автора так же подчиняется политической конъюнктуре, как и при жизни. Если социолингвистика "пошла" под лозунгом "лицом к общественности", то и изучение русской истории и культуры, работы Якубинского по истории русского языка были востребованы в конце 40-х — начале 50-х годов, когда могли использоваться для обслуживания великодержавной идеологии<sup>13</sup>.

Итак, перед комиссией по чистке Якубинскому (входившему, впрочем, в ее состав) было чем отчитаться. Создано плановое научное учреждение, произошло "прикрепление работников" путем ликвидации совместительства, началось "непосредственное участие в социалистическом строительстве". Конкретными достижениями в 1929/30 г. Якубинский назвал «обслуживание работников агитсети по Ленинграду, диспут по языку газет, диспут о реформе орфографии, статьи в "Литературной учебе", участие в работе рабочего университета, обслуживание речи (?) учащихся трудшкол, по заданию обкома партии обследование языка колхозных (затем районных) газет». Началась работа по линии военного ведомства "в связи с делом обороны страны". Ну, а недостатком Якубинский счел слабую трудовую дисциплину<sup>14</sup> и потому были введены служебные дневники, которые и дали повод Фрейденберг написать ее пародийный доклад.

Рубеж 30-х годов — это еще и курьезное для стороннего наблюдателя, но слишком понятное изнутри, "запараллеливание" методологии и дисциплины. "Дисциплина" словно приобретала исходный смысл "учения", а методологии подчинялись как дрессуре. Таковы последствия для науки притязаний власти на "научность" ее идеологии. "В Яфетическом институте ввели книгу посещаемости для сотрудников, и таковые стали бывать много чаще. Заработало и Методологическое отделение". Это фраза из письма И.И. Мещанинова Н.Я. Марру, написанного почти в то же время, что публикуемый доклад — 17 марта 1931 г. В этот же день Ленинградский обком ВКП(б) решил ГИРК ликвидировать<sup>15</sup>. Но не ликвидировал. Хотя, конечно и ГИРК был уничтожен-реорганизован очень скоро: в 1933 г. на основе его языкового сектора был создан Ленинградский научно-исследовательский институт языкознания (ЛНИЯ), который еще несколько лет спустя (1936) поделили между ЛИФЛИ и ЛОЦНИИЯП (Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского института языка и письменности народов СССР). Эти события лежат за пределами интересующего нас

периода. И я указываю на них, чтобы видеть перспективу административных работорств, в которых каждый бой воспринимается участниками как последний и часто для них таковым и бывает. Необычайное ускорение и учащение реорганизаций, пришедшее на рубеж 30-х годов, привело после всех новшеств и новаторств к стабильной и во многом традиционной системе организации науки в образовании.

Особенно много экспериментов и небывальщины было в Университете. Дипломы вводились (1924-1925 гг.), отменялись (1929 г.), снова вводились. Создавался факультет общественных наук (1919 г.), а спустя несколько лет расформировывался (1925 г.). На историко-филологическом факультете в 1918-1919 гг. — 10 кафедр, на факультете общественных наук к 1 января 1921 г. - кафедр уже 98. Факультеты постоянно тасуются и переименовываются, чтобы в 1930 г. вовсе разъять ЛГУ на отраслевые вузы (в этот момент возникает ЛИЛИ - Ленинградский историко-лингвистический институт, на основе родившегося в 1929 г. историко-лингвистического факультета, в свою очередь наследовавшего факультету языкознания и материальной культуры, возникшему в 1925 г.). Весной 1931 г. проходит еще одна лавина реорганизаций: в ЛГУ упразднены все существующие факультеты, вместо них созданы какие-то сектора подготовки кадров и множество отделов, в ЛИЛИ укрупняют кафедры. Но вот наконец 19 сентября 1932 г. выходит постановление ЦИК СССР по университетам ("Об учебном режиме и программах в высшей школе"). Все. Наигрались. Ликвидируются: циклы, уклоны, сектора, бригады, все революционные слова и формы. Снова традиционные факультеты, отделения, кафедры. С некоторым отставанием те же преобразования постигают и ЛИФ ЛИ, и ЛИЛИ, вводится 5-летний срок обучения, в 1934 г. истфак возвращается в университет, в 1937 г. восстановлен филологический факультет, в 1940 г. - философский и экономический факультеты.

Окрепший советский строй возвращается к старым формам, уже не несущим в себе потенциала воспроизводства несоветской интеллигенции. Когда выпускники старой классической гимназии давно уже миновали студенческий возраст, в ЛГУ было восстановлено классическое отделение. Профессора — все те же, еще дореволюционные, но культурный разрыв между ними и аудиторией обеспечивал за редким исключением неповторение в учениках ценностных систем учителей<sup>16</sup>.

Когда все студенчество приходило в университет из трудовой школы, когда профессура прошла чистки, а молодые партийные аспиранты успешно заняли ключевые административные посты, тогда нужда в непрерывном административном процессе, если не отпала, то все-таки ослабла. "Административный процесс" можно было бы сопоставить с процессом ускоренной биологической эволюции. Необходимость адаптироваться к постоянным переменам развивает потребный для выживания конформизм, а одновременно с этим выбраковываются экземпляры с установками на изнутри определяемую последовательность, на требование логики, эффективности и позитивного результата. Литературные дискуссии, шедшие в эти же годы, не приводили к победе самого революционного и догматически марксистского понимания литературы и литературоведения. Строившиеся по модели партийных и, видимо, инспирируемые из соответствующих

отделов ЦК, эти дискуссии служили скорее отсечению крайностей, в том числе и крайне искренних и последовательных служителей пролетарской идеи. Так "пал", например, упоминаемый Фрейденберг в докладе В.Ф. Переверзев, для которого партийным стало уже и подсознание писателя<sup>17</sup>. Дискуссии проходили между марксистами и марксистами, между материалистами и материалистами и были при этом исключительно ожесточенными. Это не был спор точек зрения, речь шла о выживании и о месте под солнцем, и подобно эволюционному отбору "борьба" (слово это столь частое в языке дискуссий наполняется сегодня дарвиновским смыслом) приводила к выбраковке крайних, "неистовых ревнителей".

Сегодня, когда определенный идеологический контроль, именовавший себя "марксизмом", перестал быть актуален, все очевиднее, что дело было вовсе не в марксизме. Искреннее исповедание марксизма, какая бы то ни было последовательность мысли и поступков, примерно так же противоречит интересам режима, как, скажем, религиозная философия. Мы знаем уже, что насаждение "марксизма" привело в конце концов не к приятию его как своей идеологии, а к признанию за идеологией государственного, а не личного статуса. Соответствующая терминология и ссылки должны обозначить политическую лояльность ученого. А большего от него и не требуется. Ведь тем самым он отдал почти все.

Но кто же знал развязку? Герои ее не знали. Л.Я. Гинзбург писала и так, как грешно и невозможно писать тем, кто сам тогда не жил, об отречении интеллигенции от своих духовных преимуществ, о ее самоотрицании во имя хозяев жизни, объявивших себя наследниками прежних угнетенных, о жертвовании даже собственным языком и о нелицемерной воле к приобщению, о стремлении войти в новое общественное устройство наравне со всеми. И еще о страшной мамоне одаренных людей — творческом инстинкте: "Талантливые — художественно и человечески — поэтому особенно напряженно искали в себе или создавали в себе участки тождества. Это участок, занимая который можно сказать: и я того же мнения. И выразить это мнение с некоторым отклонением от эталона, другими вроде бы словами"<sup>19</sup>.

Для Фрейденберг отождествление себя с какой бы то ни было большой или малой социальной группой было достаточно затруднено. По обстоятельствам ее жизни и свойствам характера, обсуждение которых заняло бы слишком много места, она не только не была человеком групповым или кружковым, но и обладала известной независимостью от взглядов и норм как общепринятых, так и ближайшего социального окружения. В начале 20-х годов Фрейденберг познакомилась с Марром, с его "яфетидологией" и нашла в его общих воззрениях много родственного своим "методологическим" интуициям, несмотря на существенно иной материал исследования. Марр же высоко оценил работу Фрейденберг о греческом романе, для автора сверхценную, и провел ее защиту в конце 1924 г. в ИЛЯЗВ.

Диссертация была принята враждебно. Трудно сказать, какие причины играли тут большую роль — научные или социальные. Наверное, записка Марра, посланная Фрейденберг в горячую минуту диспута: "Пожалуйста, не волнуйтесь: ясно, что Ваша трактовка чересчур нова и свежа", — отражала в какой-то



степени положение дел. Но важнее было то, что Фрейденберг не принадлежала академическому миру, она была "чужая" и вела себя на диспуте, не сообразуясь с этикетом, частью сознательно, частью по неопытности. О своей "неопытности" Фрейденберг не раз говорит в мемуарах применительно к ориентированию в научной среде. Нисколько не стремясь попасть в феминистическую моду, отметим все же, что в России научных степеней женщинам получить было негде; как и выступить на диспуте с защитой своей работы. Такое могло случиться только за границей. Если не говорить о совершенно исключительных случаях, то даже самостоятельные в научном отношении женщины в этот период все-таки, как правило, связаны с академической средой биографически - это профессорские дочери и жены. Фрейденберг не имела в научном мире даже двоюродного дядюшки.

Мы можем судить о стиле ее выступления на защите по предисловию к диссертации и по заявлению в коллегии ИЛЯЗВ, написанным горячо и лично и, видимо, совершенно "не в той" тональности:

"Работа моя, пять лет делавшаяся в период 1919-1923 гг., прошла вся в условиях революционного времени и отношении к ней должно быть соответствующее ее характеру и ее выполнению. Печати нет, обнародовать своей работы я не могу ни одним из прежних способов, - и если я, преодолевая тысячи препятствий и каждый день вступая в борьбу за существование своей работы, наконец имею счастье дать ей жизнь при посредстве Института — я надеюсь, что Институт, как научный центр, окажет мне помощь и не задушит моей работы" (Ленинград. 9 апреля 1924 г.).

Между тем ученые степени, защиты, диссертации были отменены, наряду с дворянскими титулами. Научный руководитель Фрейденберг С.А. Жебелев противился защите, может быть, считая, что сам факт ее проведения будет означать примирение с новыми порядками в университете. Наконец он согласился, поставив такие условия: остальные оппоненты будут докторами с дореволюционными степенями, диссертацию канцелярия пришлет ему со служителем на дом, а на письме директора с просьбой выступить оппонентом непременно должна быть печать. Именно потому что старые, отмененные, степени и звания университетской и академической средой реально признавались, она некоторое время противилась тому, чтобы при новом режиме, да к тому же выпускникам послереволюционного университета они также присуждались. Это стремление воспроизводить в своей среде, хотя бы ритуально, старые формы, держаться прежних привычек и обихода ярко контрастирует с настроениями Фрейденберг, как они выразились в предисловии к диссертации:

"Мне приходится поневоле делать предисловие к своей работе, чтоб подчеркнуть необычность ее выполнения, параллельную общей необычности условий последних лет. Это не та старая работа, которую выпускал Университет из своей спокойной лаборатории: нет, это детище 1918-1923 гг., со всеми страданиями, несовершенством, со всей страстью изнемогавшей энергии, с личной ответственностью и одиночеством эпохи переходной и новой. Людям, желавшим подходить к науке спокойно, с меркой раз навсегда установленной и непременно бесстрастной, я работы своей не предлагаю: мои пояснения обращены лишь к

тем, для кого наука есть, прежде всего, проявление жизни, ею питаемой, от нее берущее добро и зло, и возврат свой направляющее опять к ней, в ее враждебное лоно. Забывать нашу эпоху, подходить к процессу нашей жизни с лицом бесстрастным, с трафаретной меркой ледникового периода - пусть делает это тот, кто может. Я не хочу забывать дней, в которые жила и живу, и ставлю остроту современности во главу угла. Формалист, поэтому, не должен браться за критику моей работы: она вся - студенческая, и уже одним этим, с обычной точки зрения, не подлежит серьезному вниманию".

О чем это? Кому вызов? Кто должен применить к себе явно неодобрительное "формалист"? ОПОЯЗовцы? или, напротив, ученые старой академической школы? Думаю, это сделали и те, и другие. "Ледниковый" период - это не "мирное" ли время, а "трафаретные мерки" — это не те ли "вечные ценности" позитивного знания, которому и без Фрейденберг слишком многое угрожает? Вспоминая обстановку разрухи и вымершего университета 1919-1920 гг., Фрейденберг продолжала:

"Я увидела, что никого у меня нет, что в этом хаосе разрушения старых идеалов и в общем их крушении люди отгородились один от другого, опустили и одичали; нечего ждать помощи от отдельного человека, извне, - никто не оможет чужому и не посмотрит вверх себя. Нужно выбирать или жизнь - или смерть, хоронить ли мертвой своих мертвецов, или уйти из себя и последовать за тем, что движется и дышит, что может меня опрокинуть или спасти, но не покроет пустотой и пылью. И вот, желая вдохнуть в себя жизнь, уверовать в счастье, приобщиться свету великого процесса живой жизни, - я в тот же день стала работать, сама, одна, собственными своими силами".

Е Ужасный выбор между тем, чтобы хоронить своих мертвецов, и тем, чтобы приобщаться свету великого процесса живой жизни, без труда прочитывается в терминах принятия и непринятия режима. К тому же само открытие Фрейденберг — обнаружение жанрового и генетического родства христианского апокрифа "Деяния Павла и Феклы" и языческого греческого романа — уже было шокирующим. И хотя выводы Фрейденберг признал Жебелев, а позднее с ними согласился знаменитый А. Гарнак, невзирая даже на противоречие их его собственной работе о "Деяниях"<sup>20</sup>, молодые товарищи Фрейденберг по семинарию Жебелева, филологи "с дореволюционным стажем" сразу обнаружили расхождение метода Фрейденберг с формальной филологией и, естественно, определили его как ненаучный. И Фрейденберг пишет об этом в предисловии к диссертации — единственной части, которую, как правило, читают пока она лежит в библиотеке. Выходя к научному сообществу и ища получить у него квалификационное свидетельство, Фрейденберг делала, кажется, все, чтобы себя этому сообществу противопоставить:

«Мало-по-малу я научилась идти своим путем, освобождаясь с каждым днем от чужих догм; я привыкла к своему одиночеству и полюбила его (...) Историко-литературный метод перестал меня интересовать; результаты формальной филологии, орудующей над одним памятником и никогда не проникающей до самого литературного организма, казались мне незначительными; вопросы развита представлялись мне такими же философски ничтожными, как ничтожна

всякая эволюция сама по себе. В существовании мощной отрасли знания, исходящей из готового материала вглубь к его организации, в одном этом я черпала уверенность при новом подходе к своей работе: этюды, подаваемые пр. С.А. Жебелеву, стали встречать одобрение, и постепенно я пошла по своему пути. (...) Горько было мне, в период окончания, столкнуться с одним университетским течением: это "саботажники духа", после появления белой булки, стали вокруг говорить, что наука мертва, что русской науки нет, что по отдельным закоулкам идет нечестная фальсификация. Оглядевшись вокруг, вспомнив жуткие годы начального периода, я поняла, что все живые люди посильно занимались наукой, - а может быть, и свыше сил, - мертвецы же, не прикрытые общим благополучным ходом вещей, оказались обнаженными в своей давнишней мертвости, — и вот спасаются, злобствуя на живых. Русская наука сделала в эти годы выдающиеся открытия в области физиологии и лингвистики, — но, видно, здесь речь идет не об истинной природе науки, а об ее ремеслах, сильно расшатанных и, может быть, надолго. Иной период наступает теперь; уже за иные ценности нужно бороться со смертью и пылью иными, так же протягивая руки за веянием истинной жизни и ее великой поддержкой».

"Саботажники духа"? На кого это она намекает? Дерзость заключались уже в самой открытости высказывания. Кто ты такой, чтоб говорить так страстно? Как смеет никому не известный человек выражать свои мысли и чувства столь свободно и судить об университетском народе как власть имеющий?

После защиты Фрейденберг, едва ли не бойкотированная университетской публикой, усилиями Марра была зачислена (1 ноября 1925 г.) на половинную ставку в ИЛЯЗВ. Но там Ольга Михайловна почти не появлялась. Обретение своего круга состоялось для нее в "мифической" секции Яфетического института. Яфетический институт, в штаты которого входил поначалу десяток человек, помещался непосредственно на квартире у Марра, служившей центром притяжения для ленинградских гуманитариев, может быть, именно из-за неформальной ситуации — не "служба". Со временем институт разрастался, научное сообщество уступало свои права учреждению, а Яфетический институт стал Институтом языка и мышления — впоследствии - ЛО Института языкознания АН СССР. Председателем "мифической" секции был академически безупречный В.Ф. Шиш-марев, участвовали в ее работе как сотрудники и как гости ученые разных специальностей, состоявшие на службе в ИЛЯЗВ, университете, ГАИМК - кто где. Русист В.Л. Комарович, гебраист и египтолог И.Г. Франк-Каменецкий, египтолог В.В. Струве, археолог Т.С. Пассек, археолог и лингвист Б.-А. Латынин, бывали античник и "формалист" Б.В. Казанский, Б.М. Энгельгардт, автор книг и о Веселовском и о формалистах и др. Фрейденберг считала, что именно здесь (вообще говоря, среди тех же и таких же людей, с которыми она не хотела иметь дела в ИЛЯЗВ!) она обрела свой круг, понимание и возможность научного общения. "Конечно, это было огромное счастье, что я получила среду, полное понимание, друзей, горячее биение научной жизни, атмосферу большой науки", - вспоминала Фрейденберг в конце 40-х годов (Воспоминания. Тетрадь 7). Фрейденберг посещала и другие секции Яфетического института, но главным образом шишмаревскую, называвшуюся по-разному: то "группа мифов и литературных

сюжетов", то "сектор семантики мифа и фольклора", то "палеонтологической семантики", то еще как-нибудь. Фрейденберг не только постоянно делала доклады на заседаниях секции, но и оказалась инициатором и организатором единственного коллективного труда данной научной группы - сборника "Тристан и Исольда: От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Евразии" (Л., 1932). Однако еще задолго до расставания с Яфетическим институтом, которое приходится на рубеж 1931 г., в самом начале "обретения" своего круга в кругу Марра Фрейденберг писала Франк-Каменецкому, что Марру нужна "покорная и восторженная стихия поклонения и сектантства" (письмо 1925 г. см.: Воспоминания. Тетрадь 5-6). К рубежу 30-х годов отталкивающие стороны Яфетического института как учреждения и Марра как главы школы выходят для Фрейденберг на первый план:

"Во мне накопело в душе от Марра. Чем влиятельней он становился, чем насильственней он заставлял принимать свое учение и подлаживаться под политику, тем громче поднимался во мне негодующий протест. Я желала сбросить с себя гнет его имени, тяготевший над моей научной индивидуальностью; мне надоело терпеть гонение за недостатки его теории и отдавать в его приходную книгу свои научные достижения. Его клика, камарилья, ничтожеством, выдвигавшиеся им в ущерб науке, его недоступность, вырождение былых его взглядов и привычек, партийная лесть и деспотизм - это все раздражало меня, вызывало во мне стыд, и я хотела отмежеваться от марризма. Столько лет борясь за Марра, я боролась за передовую мысль и ее независимость; теперь я видела, что она сама стала деспотичной, нетерпимой, неумной"<sup>21</sup>.

Расхождение было обоюдным. "Яфетидологи" бракуют одну за другой статьи Фрейденберг, а ее ведущая роль в создании коллективного труда над сюжетом "Тристана" вызывает раздражение и обычные в таких случаях мелкие пакости<sup>22</sup>.

Состав Яфетического института также менялся. Все больше в нем было изучения бесписьменных языков, а тем самым - национальных кадров, как правило, слабо подготовленных, все большее место занимало "языковое строительство", все меньше оставалось "оторванных от жизни" тем. С Яфетическим институтом в широком плане происходит то же, что с ИЛЯЗВ, вплоть до переименования (в Институт языка и мышления им. Марра) и переезда (из квартиры Марра в обычное помещение). Но если происходящее с марровским институтом Фрейденберг знала изнутри, то реорганизация враждебного ИЛЯЗВ вселила надежды на обретение новой научной среды и того "участка тождества", о котором шла речь выше.

Период 1930-1933 гг. оказывается периодом наибольшей вовлеченности Фрейденберг в социальный контекст. В январе 1930 г. она становится секретарем секции методологии литературы в ГИРК, через полтора года - зам. ученого секретаря ГИРК, т.е. Якубинского, еще через год - зав. учебной частью, а значит, заведует подготовкой новых кадров. И тут уже Фрейденберг не числится, а весьма и весьма усердствует.

У талантливого человека даже слепота и потеря нравственного слуха обладает какой-то невероятной выразительностью, художественной законченностью. Сохранились письма начала 30-х годов, отправленные Фрейденберг Пастер-

икам, дяде и кузинам в Германию<sup>23</sup>. Читать их почти невозможно, такой из них глядит Хлестаков и одновременно Гоголь из "Переписки с друзьями". Я нарочно привела выше обширные цитаты из предисловия к диссертации, чтобы читателю было с чем сравнить эти письма, пусть даже и предисловие написано не самым скромным человеком:

"...И вдруг полная перемена декорации, и то, что казалось наиболее трезвой явью, обращается в сон. Окна вскрыты, дерево распускается под окном, солнце жарит, мостовые сухи! Мостовые сухи! Мостовые сухи! День большой, широкий, светлым!!! Из тюрьмы - на свободу: ходи, дыши, беги, окунайся в жизнь! - С апреля перелом от зимы к весне. В Институте прошла реорганизация, победили молодые партийные силы. Начался нажим на работу — но нажим здоровый, хороший, нужный. Многих повыкинули, других поместили на задний фон. (До свиданья, убегаю!) (...)

Итак, новые силы институтские сейчас же выдвинули меня. Удивительно, как *никто* из академической среды никогда ничего для меня доброго не сделал, и как я всем обязана только молодой общественности. Взамен прежнего генерала от марксизма, меня сделали председателем одной из научных секций (групп, у нас это называется "бригада"), так что я получила командование и широкое организационное плавание, к чему имею природную способность. Моя бригада уже оказалась лучшей, и нас премировали очередным томом инстит. сборника, причем к 1 июля этого года надо сдать в печать. Тут и редакторская работа, и с молодежью и т.д. Кроме того, я получила командное же место по общественной линии, одно из самых почетных и центральных - в знак уважения. К 1-му мая мое имя вывесили на красной доске (это форма общественного премирования). А сейчас назначили меня заведующим учебной частью — тоже ответственная работа, очень большая, из области высшего администрирования. И я, молчаливица и затворница от дней юности моей, имею свои часы приема и всех должна знать, и все обо всем, и каждая деталь винтика всей машины должна быть у меня на ладони, и со всеми говорить, и всех принимать и объясняться и пр. и пр. Атмосфера доверия опять подняла мои силы (а мне доверяют - исключительно!), а перспектива печатанья (здесь и еще появились кое-какие мелкие возможности и надежды на оные) оживили меня, и я снова стала бодрой и веселой. Главное - забыть зиму и не думать об ее возврате в жизни..." (26 мая 1932 г.).

В письма к родным, для которых доброе отношение, а не критичность только естественны, Фрейденберг долгие ухитряется не вспоминать, т.е. не замечать, зиму. Но в письма к М.К. Азадовскому, коллеге по ИРК, переполненных почти исключительно служебными темами, Фрейденберг приходится признать, что все ее увлечение "учебным строительством" рухнуло при первом же экзамене. "Молодые партийные силы" предстают здесь в совершенно ином виде: невежды, умело соблюдающие формальности, чтобы провести в аспиранты "своих". "И я не могу прийти в себя от того, кто такой Бердников<sup>24</sup> - этот ограниченный, тупой, бессердечный и бесплодный человек, это убогое ничтожество, гнетущее всех и все" (12 сентября 1932 г.)<sup>25</sup>. Фрейденберг не хочет читать "этой публике" лекций, бранится, прокликает и понимает, что ей не остается ничего, кроме ухода. Но в письме к родным в Мюнхен даже самый уход подается совершенно

иначе, в детском каком-то хвастовстве, тем более безудержном, что перед дядюшкой, тетушкой, кузинами можно придумывать свою жизнь, не опасаясь проверки:

«Я дослужилась в последнее время до того, что подала прошение об уходе -но не отпустили. Уже я член директората и имею 2-х секретарей, можете вы это себе вообразить?! На больших ролях я чувствую себя так естественно и просто, что не замечаю, "кто" я, и это-то является разительной приметой отсутствия честолюбия, ибо никаких "головокружений" у меня нет и я совершенно не могу отличить ничтожества одного звания от другого. В моих глазах каждое повышение - это увеличение забот и работ, и потому мне выгодней стремиться к снижению. Мне уже приходилось делать административный доклад на открытом партийном пленуме Института - что является "точкой". А мне, Онегин, пышность эта... Самое галантное со стороны биографии это то, что в мои руки попали многие из моих душителей и убивцев, и я видела собственными глазами падение Навуходоносоров из разных былых грозных секретарей и пр. Но я не только не расправляюсь с этими (...) козявками, но забываю, "кто они мне", и из чувства опрятности держусь с ними очень вежливо и любезно, — что они, выставив вперед живот, принимают за должное. Как, в сущности, технически легко быть добрым, находясь "на высотах", и как головоломно быть злым и как все они бесцветны, бездарны и - и я сама не знаю, что - все эти дрянные мелкие людишки из академического мира! Но самый перл из всех - это Марр, бесспорно - великий ученый и ничтожнейший из людей. Вышел "Тристан" (я вам как-нибудь вышлю всю книгу); это воспринимается всеми, как крупнейшее научное событие, - а я не только не состою в Институте Марра, но о моей роли - ни гу-гу, и еще он, старая собака, ходит и поносит книгу (это у него такое свойство кокотки — поносить преданных ему и подлизываться к прохожим на тротуаре)» (2 августа 1932 г.).

Расставание с Марром и его кругом делало попытки найти новую среду особенно отчаянными\*. И тут Фрейденберг снова возвращается к старому докладу у Шишмарева. Судя по протоколу шишмаревской секции, обсуждение было достаточно заинтересованное и благожелательное. Но понимание идеи доклада нашли только у И.Г. Франк-Каменецкого, а запомнилась Фрейденберг реакция Шишмарева. Его позицию, отраженную в протоколе, она фиксирует в "Воспоминаниях" (Тетрадь 7), правда, без упоминания имени. Уже на первом выступлении в мифической секции (7 февраля 1926 г.) с докладом "Три сюжета или семантика одного" Фрейденберг получила от председателя секции разъяснение, что прослеженные ею тождества представляют собою "просто" бродячие сюжеты, которые попадают в различные литературы путем заимствования. И при обсуждении сюжета о благородном разбойнике ("Методология одного мотива") В.Ф. Шишмарев вновь повторил, что Фрейденберг взяла неподходящий

\* С этого примерно места эту статью лучше читать уже после прочтения доклада Фрейденберг. Характер публикуемого текста требует, как кажется, предварения его очерком исторического контекста. Что же касается непосредственного научного содержания доклада, то здесь уместны и понятны комментарии "вслед". Не создав такой объемлющей конструкции, мы заменяем ее настоящей инструкцией к чтению.

для ее целей материал: только если можно исключить вопрос о заимствовании мотива Лермонтовым у Кальдерона, стоит говорить о других объяснениях. В том же духе выступал и Комарович: «самая тема доклада "Методология одного мотива" выходит из области литературного суждения, и (...) докладчик не учитывает генетического родства, литературных предшественников". Высказывания Б.М. Энгельгардта и Б.В. Казанского переданы в протоколе не слишком вразумительно, но какой школы эти ученые, видно даже сквозь протокол. Энгельгардт "остановился на определении термина сюжет и поставил вопрос, лежит ли он в определенном образе, присущем данной среде, независимо от данного автора". Казанский "отметил сходство построений докладчика с положениями, выдвинутыми Шкловским, которыми сюжет и мотив возводятся к образу, и высказал сомнение, можно ли процесс создания древних сказаний сравнивать с процессом нового литературного творчества»<sup>26</sup>.

И эти выражения тоже будут высмеяны в докладе о бродячих сюжетах и неподвижных теоретиках<sup>27</sup>. Со всеми она поквитается, "в пародию вставит". Пародия как тема или как форма отмечает некие рубежи в творчестве Фрейденберг. Первая печатная работа "Идея пародии" (1926) помещена в сборнике в честь Жебелева, и ее появление подводит черту под "Жебелевским периодом". Марровский период завершается (с точки зрения обстоятельств научного быта, а не метода) в 1931 г. уходом из Яфетического института в ИРК и пародийным докладом, в котором заключена попытка реванша.

Пародии и шуточные произведения, которых в первую половину жизни Фрейденберг сочиняла великое множество, никогда не исполнялись ею и не читались вне рамок частной жизни. Большая часть смеховой продукции Фрейденберг, ее эпиграмм или поэм, обращена к отдельным лицам - к друзьям и коллегам<sup>28</sup>. Шуточные протоколы заседаний секций Яфетического института также были предложены действующим лицам в домашней обстановке, за столом, на Рождество. Действительно, капустниковые формы предполагают не открытость *urbī et orbī*, а социальную матрешку: малую общность внутри несколько большей, по отношению к которой кружок ощущает свое единство, маркируя его своими особыми словечками, своими праздниками, всем известными историями и своими смеховыми жанрами. Выступление в ИРК с пародией на принятые в академической науке точки зрения было попыткой обратиться к новой аудитории на языке сходящей или уже сошедшей со сцены среды — просвещенного кружка, интеллигентного сообщества. То есть тех, к кому, не опасаясь быть непонятым, можно обратиться в духе игры, иронии, интеллектуального сарказма, с пародийным скетчем, за которым стоит самая серьезная работа над литературой и источниками<sup>29</sup>. Странность выхода на методологическую кафедру с пародийным сочинением может быть объяснена только стремлением обратиться к новой аудитории свободно - как к "своей". И на этот раз Фрейденберг, как ни странно, имела успех, причем у кого! - у партследователей Л.В. Цырлина и А.А. Бес-киной, у авторов, занятых исключительно критикой литературоведов (в частности, формальной школы) с точки зрения марксизма<sup>30</sup>. Не будем, однако, кичиться поздним умом потомков, знающих цену, какую придется платить за такую аберрацию. Конечно, с пародиями надо обращаться к обериутам, к

Вагинову. Но ведь от Вагинова недалеко до Бахтина, от Бахтина до Волошинова, а Волошинов скорее всего здесь, в зале. Через несколько месяцев в том же ИРК Фрейденберг делает еще одну попытку доклада-вызова "Что такое фольклор?" и успеха не имеет, а почему - скажем позже. И так, Фрейденберг пошутила тут едва ли не в последний раз. Даже прием остранения, который она позволила себе применять в "Поэтике сюжета и жанра" (1936 г.), был опасен в незнающем иронии мире конца 30-х годов. "Вредная галиматья" - подвал в "Известиях" о "Поэтике сюжета и жанра"<sup>31</sup> - не оставлял сомнений в том, что среди агеластов шутки неуместны. Но мы знаем, что аудитория выдвиженцев встретила доклад одобрительно. Почему? Потому, что и в высмеивании старой академической науки, и в сатирической полемике с более актуальными противниками они услышали тональность разноса. Для них это была дискуссия в жанре чисток. Правда, актуальные оппоненты Фрейденберг — формалисты — уже были "вычищены" из ИРК, а когда их громили у нее на глазах, она склонна была принять их сторону<sup>32</sup>. Но это их "спецификум", "генезис", "контекст сознания", "композиционный предлог". Фрейденберг упоминает и кивает на введенное ОПОЯЗ'ом отличие сюжета и фабулы и вообще на теорию сюжета, как ее понимал В.Б. Шкловский, и ополчается на принцип формалистов: изучать литературу саму по себе, вне вещей, далеких от нее как специфического феномена. И, разумеется, в докладе заключена полемика с книгой 1924 г. Б.М. Эйхенбаума о Лермонтове, отсылка к которой подчеркнута даже расположением сопоставляемых текстов "Демона" и европейского автора — "источника" — в две колонки<sup>33</sup>.

Лермонтоведение, насколько я могу судить, не обратило внимания на те сюжеты, которые привлекает к рассмотрению Фрейденберг, а сосредоточилось на сходстве самой темы богоборчества у различных писателей, с одной стороны, и на конкретных словесно-образных параллелях - с другой<sup>34</sup>. Если не ошибаюсь, только Н.П. Дашкевич бегло указал на предание о св. Юстине, которое обрабатывал Кальдерой в пьесе "El magico prodigioso", "Чудесный кудесник", как ее называет (вслед за Дашкевичем) Фрейденберг<sup>35</sup>. Но о "Поклонении кресту" как источнике или параллели к "Демону" никто не писал<sup>36</sup>. Эйхенбаум по сути следует традиционным исследователям Лермонтова, когда ищет и находит заимствования у Лермонтова<sup>37</sup>, хотя движим он, несомненно, иным пафосом: ему важно показать работу писателя, komponующего готовые формы как строительный материал.

Между тем оперирование готовыми формами в литературе — сердцевина теории сюжета и у Фрейденберг, только совершенно в ином смысле. Иной задан масштаб элементов: "формы", "готовые формы" - это не слова, не обороты, не образы, не идеи, а сюжетные схемы, основанные на всеохватном мифологическом образе. Соответственно решительно несогласными будут и объяснения тождеств. Они тоже будут иного масштаба. Оптики палеонтологии сюжета и формального метода дают несопоставимые результаты, а отличия историко-генетической и отталкивавшейся от нее формальной школы через линзы семантологии просто не видны.

"Формалист" Казанский считал слишком различными процессы сложения древ-



них сказаний и процессы нового литературного творчества. Представители культурно-исторической школы Шишмарев и Комарович полагали, что Фрейд-денберг взяла для своих исследований неподходящий пример - пример собственно литературы, а не этнографического или фольклорного характера. Но Фрейд-денберг потому так и ополчается на бродячие сюжеты, что усматривает здесь перенос исторических методов - выяснение миграций, влияний и заимствований - на ахронический в принципе материал. Картографирование и прослеживание реально, конечно, существовавших фольклорных связей и влияний применительно к фольклору кажется ей теоретически ничтожным, потому что никакими заимствованиями невозможно объяснить единство мирового фольклора в целом.

На агрессию исторического метода в доисторию она отвечает вторжением палеонтологии в XIX в., в русскую школьную классику, заявляя, что сюжеты Лермонтова и Кальдерона не суть вопросы только личного выбора и личного творчества. Действительно, даже если следуя требованиям традиционной филологии, удалось бы доказать или исключить связь "Демона" с Кальдероном, дальше пришлось бы объяснять сходство Кальдерона с кавказскими народными преданиями.

Любопытно, что ситуация с фольклорными источниками "Демона", несмотря на обилие трудов, посвященных и самой поэме и фольклору у Лермонтова, представляется отнюдь не выясненной. Лермонтов не знал грузинского, и П.А. Висковатов считал, что его "информантом" был проводник-осетин<sup>38</sup>. И.Л. Андроников полагал, что источником сведений для поэта могли служить прежде всего его тифлиссские друзья, как грузины, так и долго жившие в Тифлисе русские<sup>39</sup>. Но это лишь потенциальные информанты, а где же тексты? Исследователям Лермонтова случается ссылаться на кавказские предания не с большей точностью, чем сам поэт. Так, Висковатов, говоря о кавказском сказании о злом или горном духе, полюбившем девушку-грузинку, и добавляя к этому, что, согласно преданию, дух зла может вернуться к добру, если будет любим непорочной девой, никакой конкретной ссылкой это утверждение не подкрепляет. И.Л. Андроников в своем исследовании фольклорных мотивов в "Демоне" трезво признает, что записей соответствующего предания, которые бы предшествовали созданию "Демона", не существует. Даже в записанном в 1948 г. в Кахетии от почти столетнего старика рассказе о влюбившемся в Тамар дэви, прилетавшем к ней во сне и мечтавшем унести ее в страну дэвов, о его поцелуе, после которого девушка стала чахнуть и умерла, и о том, что ураганы и стоны ветра в горных пещерах - это плач дэви по Тамар, - даже в этом источнике нельзя исключить "спускания" в фольклорную среду пересказов лермонтовской поэмы<sup>41</sup>. Есть и довольно ясные случаи перевода "арии" Демона "обратно" на грузинский, как, например, запись, приведенная в брошюре Е. Страховой<sup>42</sup>, хотя бы автор брошюры и видел причину несомненного сходства варварской переработки знаменитого монолога с оригиналом в том, что, записывая грузинскую песню по-русски, исследователь кавказского быта (Светлов) перевел ее, "стилизуя под лермонтовский слог".

По-видимому, установить с надлежащей научной строгостью кавказский источник сюжета "Демона" невозможно, так же как отмахнуться от различных

"перекрестных" свидетельств, которые позволяют предполагать независимое от Лермонтова существование на Кавказе сказания о горном духе Гуда (духе горы Гуд, ср. в поэме Лермонтова - князь *Гудал*), влюбленном в девушку и губящем и ее, и ее жениха<sup>43</sup>. Стоящий в пещере горный дух, упомянутый в поэме, по преданиям, также находится в ущелье *Гуда* у Казбека; его имя — Амран-Амирани.

Для оптики "палеонтологической семантики" проблема "кто у кого что взял" - Лермонтов у грузинского фольклора или фольклор у Лермонтова — не столь существенна. Зато совершенно очевидно, что кавказское предание имеет сходство, например, со славянскими быличками о муже-змее, прилетающем по ночам к женщине, иногда принимая облик ее собственного мужа; причем порой после этих посещений женщина начинает чахнуть и умирает<sup>44</sup>. Славянские мифы легко сопоставляются со средневековыми поверьями о суккубах и инкубах, о сожительстве с дьяволом, а дальше можно начать рассуждать, не являются ли все такие сюжеты результатом "спускания" в народную среду библейского рассказа о змее-соблазнителе Евы.

Историко-литературный метод обнаруживает свою ограниченность при обращении к сюжетам, имеющим широчайшее, всемирное распространение и многочисленные вариации в различных, генетически разнородных культурах. А.Н. Веселовский потому и был постоянным внутренним оппонентом О.М. Фрейденберг, что его блестящий талант и невероятная эрудиция служили внедрению историзма, исторического подхода и исторического метода в исследование мотивов и сюжетов, имеющих поистине первобытное происхождение и представляющих собою происходящее в разных местах и в разное время развертывание в нарративных вариантах мифологического образа. "Все бралось в каждом районе из своих недр", - доносит протокол слова Фрейденберг. За ними стоит концепция единства исторического процесса, по сравнению с которым конкретная фактическая связь, например, рассказов о Роберте Дьяволе и Василии Буслаевиче, подробнейшим образом изученная акад. И.Н. Ждановым<sup>45</sup>, не то чтобы неважна или невозможна, но теоретически малосодержательна. Исторически конкретные культурные контакты не объясняют и не могут объяснить ни происхождения сюжета, потому что оно лежит в доистории, ни механизма культурной динамики, если, конечно, не сводить его к самопроизвольным странствиям сюжетов.

Свою попытку размежеваться с формальным методом по материалу в докладе 1926 г. делала и сама Фрейденберг. Вместо того чтобы оставаться со своей семантологией в рамках безличного фольклора, она предлагала считать эпохой готового сюжета в Европе, т.е. эпохой, когда свободного "сочинительства сюжетов" еще не существует, весь период до XVIII в.<sup>46</sup>

Заметим, что во второй половине XX в. при изучении сюжетов ослабла потребность в размежевании методов в зависимости от материала архаичного и неархаичного. Изучение архетипов и мифологем в самой современной литературе мирно сосуществует в литературоведении с изучением влияний и зависимостей писателей друг на друга. Просто архетипы и мифологемы помещаются во вневременном и не имеющем хозяина резервуаре, откуда заимствуют все. Причем (в отличие от исторического источника) не нужно доказывать доступность его для данного автора. Ситуация выбора отношения к готовым сюжет-

ным схемам по сравнению с 20-ми годами, как нам кажется, не разрешилась, а дезактуализировалась, утратила каким-то образом напряжение и одряхла. Отсылка к "архетипу" стала в конце XX в. таким же рутинным приемом, каким была в его начале отсылка к бродячему сюжету.

Итак, область "тождества" с аудиторией, о которой писала Л.Я. Гинзбург, была задана для Фрейденберг ее сугубо научным спором и со старым академическим литературоведением и формалистами. Другое дело, как он звучал, когда старики уже почти сошли со сцены, а представители формальной школы были разгромлены в печати, убраны с ключевых постов, наконец уволены. Бескина и Цырлин писали против формалистов в сборнике "В борьбе за марксизм в литературной науке", а в ИРК служил П.Н. Медведев, для которого М.М. Бахтин написал книгу против формального метода в литературоведении. Впрочем, существовала и широкая область пересечения взглядов Фрейденберг и ОПОЯЗовцев. В основном область общего отрицания: брезгливое отношение к психологизму, к упору на поэтическую фантазию, к объяснению сходства через "конгениальность", неприязнь к представлению развития как линейной эволюции. В свою очередь общей чертой и формалистов, и марристов, и марксистов этого времени является "безавторская теория литературы", если иметь в виду, что у последних автор является прежде всего представителем социальной группы.

Воодушевленная успехом Фрейденберг через несколько месяцев выступает с новым вызывающим контр докладом по отношению к выступлению В.М. Жирмунского на дискуссии по фольклору<sup>47</sup>. В нем вполне серьезное содержание сопряжено с явно утрированной до пародии "увязкой науки с практикой". Доклад заканчивался выдержанным в стиле агитационного "накачивания" призывом к повсеместному уничтожению и искоренению фольклора как наследия первобытнообщинного строя и предложением каждый фольклорный кабинет превратить в походную палатку.

Этот доклад в ИРК, напротив, не понравился, даже напугал. Как многие в это время, Фрейденберг пытается наладить отношения с марксизмом, но классовый подход получает у нее "опасную" интерпретацию. Свой материал, мифологию, "палеонтологическую семантику", архаику, Фрейденберг объявляет до- или бесклассовым и считает фольклор хранителем доисторических форм. И Марр тоже считал, что фольклор — "литература" изустная — требует тех же исследовательских приемов, что и письменная литература, которая при смене хозяев, феодальных и буржуазных писателей, при новом содержании, "сохраняет оформление литературы первобытного общества". Марр постулировал единство глоттогонического процесса и наличие общих закономерностей в развитии мышления, погруженного в деятельность, вместе с деятельностью. А это давало возможность переписать яфетидологию в терминах развития производственных отношений и т.д. Марксистское переложение яфетидологии происходило постепенно и делалось людьми "со стороны" (С.И. Ковалев<sup>48</sup>, В.Б. Аптекарь<sup>49</sup>), но так до конца и не осуществилось. Аптекарь, а вслед за ним Азадовский<sup>50</sup> зорко усмотрели в сборнике "Тристан и Иольда" формализм (!) учеников Марра, "формальную палеонтологию"<sup>51</sup> и увлечение реконструкцией мифологических элементов,

что компрометирует марризм близостью к теориям мифологов (*ср.* насмешку Фрейденберг: "Говорить что-нибудь о мифотворчестве это значит возвращаться к Миллеру и Буслаеву").

В это время своей неискушенностью в марксизме можно еще было немного пококетничать, демонстрируя дистанцию ("Знают ли у нас в директорате, как трудно сделать доклад? А ведь я еще ни разу и не подумала о марксизме, работы же набрался целый ворох. Ну, ничего, о марксизме подумаю, когда вся работа будет готова"). Гораздо больше криминала содержалось в претензии марристов-яфетидологов на собственную методологию. Об этом конфликте Фрейденберг писала в небольшом сочинении "Нужна ли яфетидология литературоведению?" В нем Фрейденберг пытается выступить от имени группы "яфетидологов" и защитить свои позиции одновременно от традиционных филологов и идеологического надзора, опираясь на коллективное "мы". В первом случае криминальна сама "методологическая независимость", палеонтологический метод и т.д. Во втором — ставятся в вину «следующие вещи: во-первых, то, что мы в своих работах не делаем различия между фольклором и литературой, между различными литературными жанрами, набирая материал с бору да с сосенки отовсюду, не останавливаясь ни перед местом, ни перед пространством, ни перед литературной историей того или другого памятника. Во-вторых, что нельзя уловить принципа нашего подбора материала, потому что мы берем не схожие вещи, не аналогии, а берем вещи совершенно различные и этими различными вещами начинаем оперировать и отождествлять их (...) Именно два наиболее ярких наших порока являются нашими двумя основными принципами, отличающими нас от других фольклористов: мы с точки зрения нашего материала не делаем различия между фольклором и литературой — во-первых, мы оперируем отличиями, а не аналогиями - во-вторых. Из чего же мы исходим? - Мы исходим из того, что фольклор является одной из разновидностей, одной из дериваций общественной идеологии, а не нечто существующее само по себе, вне материальной базы, вне общественных отношений, вне определенной стадии мышления. А раз так, раз фольклор неразрывно связан с идеологией общества на известной стадии его развития, то тем самым он не может быть изолирован от других соседящих надстроечных категорий. Мы же ищем прежде всего надстроечный материал, материал семантический. Смена материальной базы вызывает смену общественных формаций и общественного мышления, но в каждой стадии подобной смены общественное мышление одинаково проявляет себя и в языке и во всей совокупности речевой культуры, и в культуре материальной, и по всему надстроечному фронту. Но ведь мы не имеем дело с обществом вообще и с идеологией вообще. Мы конкретизируем общество, мы выделяем своеобразие именно той идеологии, с которой имеем дело при генетико-социологическом подходе к фольклору. И вот этот генезис отводит нас не к одному обществу с только одной идеологией, а к смене обществ и смене идеологий, причем мы видим, что перед нами не ряд изолированных, разорванных в клочки, исторических стадий, а процесс, процесс целостности, процесс непрерывающегося единства, который увязывает стадию со стадией, увязывает тем, что создает и противоречие между ними, и переработку *предыдущего*. Поэтому,

когда мы начинаем наш генетико-социологический анализ, мы тем самым начинаем спуск вниз по лестнице веков - тот прием, который мы называем палеонтологическим или диахронистическим; мы устремляемся вспять фактам, мы по пятам преследуем историю, - и что же мы видим? Конечно, не аналогии, а отличия. Конечно, не аналогии обществ и общественных идеологий, а их отличия. Если бы мы, оглянувшись назад в поисках генезиса, шли только за сходствами, мы занимались бы отысканием зеркал, зеркал, где нам улыбалось бы то же самое, что мы ищем, но не его история и не процесс его формирования. И, во всяком случае, не его генезис. Если брать готовую вещь и искать аналогий с ней, то это значит так и остаться навсегда с этой готовой вещью в руках. "И сказал бог: да будет свет. И стал свет". Итак, в начале ничего, а потом вдруг какое-то фольклорное явление, которое дало готовые аналогии. Генетико-социальный подход, напротив того, ищет изменчивость, ищет процесс исторических переработок, ищет связь между тем, что есть сегодня, с тем, что было вчера и, следовательно, с тем, что будет завтра. Мы равнодушны к аналогиям, потому что мы не доверяем никакой неподвижности, мы отрицаем неподвижность, мы отрицаем стабильность форм, мы не признаем самостоятельности формы и говорим: то, что имеет вид структуры и формообразно, то, на самом деле, представляет собою идеологическую значимость. Эту идеологическую значимость мы называем семантикой...»

Текст этого выступления или доклада датирован 1931 г., он имеет выраженный характер манифеста, причем явно не индивидуального, но коллективного. Между тем такой основополагающий по форме документ хотя и сохранен в архиве, но не включен ни в один из составленных Фрейденберг списков своих трудов или устных докладов. Есть работы, включенные в списки и при этом не сохраненные, но данный "отреченный" текст в своей непризнанности автором уникален. А между тем очевидно сходство "манифеста" с его подчеркнутым "мы" и концепции "аспиранта". В чем тут дело?

Форма дневника, отход от традиционного *научного* способа изложения позволили Фрейденберг ввести в текст доклада пересказ двух снов: сон, в котором она посещает конструктивный спектакль Марра-Мейерхольда, и сон, в котором аспирант рассказывает ей свой мифологический киносценарий. Такие приемы заслуживают специального внимания.

Начнем с того, что после сна-спектакля Фрейденберг высказывает опасение, что после приснившейся яфетидологии она увидит во сне Переверзева. Почему Переверзева? Дело в том, что следующий сон, сон-сценарий, имеет явно социологизаторскую окраску, а между тем именно Переверзев постулировал классовый и даже партийный характер проявляющегося во сне подсознания. Итак, во сне у Фрейденберг появляется сначала "яфетидология", потом "классовый подход", но сама Фрейденберг пассивна, дистанцирована от происходящего. Марр-Мейерхольд показывает ей спектакль, аспирант пересказывает свой сценарий. Вся социологизаторская лексика, вся "классовая борьба" сосредоточены в речи аспиранта<sup>52</sup>. Говоря "от себя", Фрейденберг пока еще подобные сюжеты обходит. Вместе с тем "аспиранту" отданы и "главные" мысли, которые будут развернуты впоследствии в "Поэтике сюжета и жанра", где появятся, впрочем, и

соответствующие слова-сигналы. Однако Фрейденберг еще не владеет соответствующим языком как своим и одно свое в нем упражнение передает в чужие уста, а другое так своим и не признала, оставив без подписи и не включив в списки трудов.

Трудно удержаться от сопоставления передачи своей концепции чужим языком со знаменитым казусом "деветероканонических" книг М.М. Бахтина. (Мы уже говорили, что их объявленные авторы, В. Волошинов и П. Медведев, скорее всего, были частью аудитории, перед которой Фрейденберг читала свой пародийный доклад.) Как Бахтин надстраивал над собственным теоретическим словом чужой язык марксистской критики, так и Фрейденберг, чтобы заговорить на языке "социологической поэтики", надевает на себя маску "аспиранта" и для верности отправляет его в сновидение. Так же как у Бахтина в "маскарадных" книгах, так и у Фрейденберг происходит переодевание слов. У Бахтина термин "социологический" отсылает к межличностной природе сознания, у Фрейденберг к историческому оформлению семантики, как, скажем, "идеология", "надстройка" на ее языке фактически означает семантику<sup>53</sup>.

Ни в том, ни в другом случае речь не идет, конечно, ни об эзоповом языке, ни о словесной мимикрии. Для Бахтина "внезаходимость" автора "спорных" книг, не прямой жанр, отвечающий переходной и потому полиглоттической эпохе, это воплощение его собственных теоретических построений. Что же до Фрейденберг, то стоило ей выйти за пределы "прямого жанра" доклада, как в ее текст ворвались десятки голосов старых и новых научных школ и направлений. Сама Фрейденберг - только аранжировщик этих голосов, не совпадающий ни с одним. Ведь и "аспирант" отнюдь здесь не "лирический герой", чья лексика на первых порах еще слишком радикальна для Фрейденберг. Фрейденберг сочиняет "его" сценарий так, что марксистский социологический анализ литературы начинает подозрительно напоминать мифологический анализ самого социологизма! Классовая идеология оказывается исторически преходящей аранжировкой исходных мифологем: образ революционера восходит к разбойнику, разбойник к дьяволу... В более поздних и неопубликованных при жизни трудах и в мемуарах "опасные" тенденции, заложенные в подходе "аспиранта" к социальному оформлению мифологической семантики, развернутся у Фрейденберг в анализ советской идеологии, важнейших для нее мифологем вождей, государства и патриотизма.

И еще одно замечание. По мемуарам и письмам известно, что Фрейденберг тяжело давался дискурс и последовательность изложения, принятая в научном обиходе. Ей хотелось создать какой-то способ представить свое видение предмета в одновременном излучении тысяч его связей<sup>54</sup>. В докладе, жанр которого позволяет отступить от условностей цеха, Фрейденберг дважды прибегает к образу сновидения, а в нем к "монтажному" построению сцены театра и сценария кино. Может быть, это была попытка создать специальный синтаксис, пригодный, чтобы предъявить сцепления в "ином" ("архаичном") сознании и способы разворачивания мифологической семантики в нарратив? В то же время, если попробовать фиксировать ход мысли исследователя до или помимо процесса, при котором он выстраивает логическую последовательность, чтобы предъявить

10. Одиссей, 1995...

свой результат миру, его внутренний синтаксис будет напоминать симультантный спектакль, "приснившийся" Фрейденом.

Интересно, что теоретик монтажа С.М. Эйзенштейн, работая над "мифологическим" или даже "теоретико-мифологическим" фильмом "Мексика", штудировал среди прочего и "Поэтику сюжета и жанра". Интересно и то, что все первые опыты монтажа как программы развертывания эмоций зрителя по содержанию тенденцируют к мифологизму и космизму содержания, независимо от конкретного наполнения. Отсутствие причинных и прочих мотивировок ведет к заданию сверхценности почти случайного текста кубистического толка тем, что изображается конец мира или его сотворение<sup>56</sup>. Невербально связанные элементы - проблема первой половины XX в. в кубизме, в конструктивизме, в симультанте-неизме в живописи и кубистическом монтаже в кино, в многочисленных теориях, где усилия прилагаются к созиданию "отказа" — от линейности, причинности, обычной мотивированности. При этом почти неизбежным оказывается попадание в мифологию.

Театр сознательно стремится сблизиться с мюзик-холлом и цирком, т.е. снова получает преобладание архаическая "аппозитивная композиция" нарратива, развертывающая основной образ в вытянутом в длину варьировании его метафор.

Вяч.Вс. Иванов считает, что по своим истокам монтаж - не просто изобретение авангардистов, но явление массовой культуры, имеющей аналоги в архаике. Научная мысль XX столетия сосредоточена на мысли не о себе, а на том, как формально-логическое мышление может освоить все пространство деятельности человеческого сознания между условными рефлексам и дискурсом. Задача научного описания и сознательного освоения "чувственного мышления" занимается и Эйзенштейна. Искусство для него есть такой путь познания, который не только истолковывает образ согласно нормам определенной стадии развития мышления, но сам конструирует образы согласно этим нормам мышления, и в структуре этих образов закрепляет те представления, в которых выражается сам образ мышления. Аналогично у Я.Э. Голосовкера "имагинативный инстинкт культуры" — воображение - "создавая, познает". Воздействие фильмов и спектаклей с ослабленным сюжетом связано с тем, что их конструкция, — "сколок с самой древней стадии сознания - чисто диффузного, не выделившего еще ведущего начала, совершенно как оно отсутствует еще и на той общественной стадии, сколком [которого] оказывается его строй"<sup>58</sup>.

Ясно, что кинематографический язык, монтаж - не просто прием, а средство говорить, т.е. строить высказывание из соположения разнородного<sup>59</sup>. Говоря о научных аналогиях монтажу, следует подчеркнуть, что 20-е годы были началом победы принципа дискретности в самых разных науках и началом "монтажа" целых наук, создания новых наук на их "монтажных швах". И вот главный научный вывод Фрейденом применительно к сюжету, изложенный в форме, соответствующей этому выводу: сюжет исходно - соположение элементов, которое мифологический образ создает их недискурсивным динамическим обобщением и независимо от выстраиваемой впоследствии мотивировки последовательности элементов.

И В заключение хочу выразить искреннюю благодарность М.Ю. Сорокиной, без непосредственной помощи и консультаций которой я не смогла бы ориентироваться в архивных источниках, а без "разговоров" - понять характер публикуемой работы Фрейденберг. Мне приятно также сообщить, что данная публикация, I как вся работа над архивом О.М. Фрейденберг, получила поддержку гранта Международного фонда "Культурная инициатива".

<sup>1</sup> Опубликовано: Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 746. Труды по знаковым системам. XX. Тарту, 1987. С. 120-130.

<sup>2</sup> См. об этом: *Бочаров С.Г.* Об одном разговоре и вокруг него... // Новое литературное обозрение. (1993. № 2. С. 70-89; *Гинзбург Л.Я.* "И заодно с правопорядком..." // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 218-230.

<sup>3</sup> Существует и другая дата возникновения института - 1921 г.; с 1923 г. - ИЛЯЗВ при ФОН ПГУ (без им. Веселовского).

<sup>4</sup> СПбГАЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 16. Л. 55.

<sup>5</sup> Там же. Д. 36. Л. 10-39.

<sup>6</sup> См.: Там же. Д. 2.

<sup>7</sup> Структуру нового института образовывали четыре сектора — методологии лингвистики под руководством сначала Марра, а затем Якубинского, методологии литературоведения (Десницкий), научно-практический (Крепе), подготовки (Державин) и несколько кабинетов - справочно-библиографический (Берковский), общего языковедения (Лемберг), литературной и деловой речи (Якубинский), социальной диалектологии (Жирмунский), методологии литературоведения (Яковлев), сравнительной истории языка и литературы (Клеман), русской литературы, социологической поэтики и лаборатории прикладной речи (Крепе) и физиологии речи (Доброгаев), а также Нек-и расовский музей. На 1 ноября 1930 г. в ГИРК - 55 штатных сотрудников, 43 внештатных, 25 аспирантов. Прежним остался директор - Н. Державин.

<sup>8</sup> См.: СПбГАЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 16. Л. 17-19; 20-26.

<sup>9</sup> С начала 20-х годов Л.П. Якубинский доцент, а затем профессор Ленинградского университета, В Педагогического ин-та им. А.И. Герцена, Пединститута им. М.Н. Покровского, Института РЛ агитации им. В.В. Володарского, Фонетического института; он научный сотрудник ИЛЯЗВ-ГИРК/ИРК-ЛНИЯ (Институтом языкознания он руководит в 1933-1936 гг.), Яфетического института, Института истории искусств, а главное - он в 1924-1927 гг. один из руководителей Ленинградского отделения Главнауки, что уж говорить о таких мелочах, как десятилетнее совмещение всех этих функций с обязанностями старшего редактора Ленинградского Учпедгиза (1923-1933) (см.: СПбФАРАН. Ф. 302. Оп. 2. Д. 308; ср. также *Леонтьев А.А.* Жизнь и творчество Л.П. Якубинского / Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. М., 1986. С. 5-6).

<sup>10</sup> См.: *Якубинский Л.П.* Избранные работы: Язык и его функционирование. С. 13-16.

<sup>11</sup> Литературная учеба. 1931. № 9. С. 66-76; № 3 (новая серия). С. 82-106.

<sup>12</sup> СПбФАРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 635. Л. 38.

<sup>13</sup> См.: *Якубинский Л.П.* Указ. соч. С. 15-16.

<sup>14</sup> Доклад Якубинского на общем собрании ИРК совместно с комиссией РКИ по чистке см.: СПбФАРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 48. Л. 12-17.

<sup>15</sup> Там же. Д. 273. Л. 30.

<sup>16</sup> Любопытно, что после войны реставрация имперского стиля повлекла за собою и введение на рубеже 50-х годов преподавания латыни в школе; но уже не нашлось ни достаточного числа преподавателей, ни достаточного энтузиазма школьников. Латынь в школе была упразднена в самом начале борьбы с прочими "излишествами" позднесталинской эпохи. И возвращается в школу теперь как знак ориентации на дореволюционное прошлое.



- <sup>17</sup> По мнению Переверзева, "партийность художественного творчества коренится не столько в сознании, но и в подсознательных сферах художника". См.: Печать и революция. 1923. Кн. 4. С. 131.
- <sup>18</sup> См., в частности, источники, посвященные именно разгрому и "падению". Переверзева: Литературные дискуссии. Библиогр. вып. 11: Переверзевщина и творческие пути пролетарской литературы. М, 1931.
- <sup>19</sup> Гинзбург Л.Я. Указ. соч. С. 226.
- <sup>20</sup> Через Л.О. Пастернака, находившегося в Германии, Фрейденберг передала А. Гарнаку автореферат своей работы в немецком переводе; Гарнак написал Пастернаку, что работа его "убедила" и что она «означает дальнейший шаг в литературном понимании "Деяний Павла и Феклы"», что некоторые, с его точки зрения, неясности "не могут опровергнуть основных выводов". Наконец он отозвался с похвалой о знаниях и "критическом чутье" племянницы своего корреспондента (письмо включено в текст "Воспоминаний").
- <sup>21</sup> Цит. по: *Фрейденберг ОМ*. Воспоминания о Н.Я. Марре / Предисл. И.М. Дьяконова. Публ. и прим. Н.В. Брагинской//Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 201. Поскольку Фрейденберг не была штатным сотрудником, ее "уход" также был неформальным: "Я написала Марру короткое, но сильное письмо, в котором говорила, что те гоненья, которые он когда-то перенес, теперь вынуждены переносить от его окружающих люди, борющиеся за его идеи. Ответа не последовало" (Воспоминания. Тетрадь 7).
- <sup>23</sup> Приношу мои благодарности Н. Перлиной (Блумингтон) и А. Слейтер (Оксфорд), любезность которых позволила мне ознакомиться с письмами, хранящимися в семейном архиве Пастернаков-Слейтер в Оксфорде.
- <sup>24</sup> Бердников Михаил Васильевич (1902-?). Член ВКП(б) с 1920 г. Окончил Оренбургский рабфак, затем Ленинградский ун-т. 8 января 1930 г. утвержден аспирантом ИЛЯЗВ при условии представления вступительной работы. Работы, видимо, не представил, зато стал председателем внутренней комиссии содействия чистке ИРК.
- <sup>25</sup> ОР РГБ. Ф. 542 (Азадовский). К. 72. Д. 24. Л. Поб.
- <sup>26</sup> Разумеется, высказывания участников обсуждения вняты нам лишь в той мере, в какой их доносит глухой голос протокола: СПбФРАН. Ф. 7. Оп. 1 (1921-1929). Д. 19. Л. 37-39.
- <sup>27</sup> Ср. примеч. 6 и 30 к тексту доклада.
- <sup>28</sup> См. о смеховом творчестве Фрейденберг: *Брагинская Н.В.* Елена Лившиц - Ольга Фрейденберг, или Травестия близнечного мифа // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 107 ел.
- <sup>29</sup> В архиве имеются обширные подготовительные материалы Фрейденберг к докладу: выписки из источников и научной литературы. Эти выписки и ссылки использованы нами в комментарии к докладу О.М. Фрейденберг.
- <sup>30</sup> См., например: *Бескина А.* Проблема биографии в марксистском литературоведении // В борьбе за марксизм в литературной науке. Л., 1930. С. 117-146; *Цырлин Л.* К вопросу о "жизни" и "смерти" литературного факта // Там же. С. 81-116. В 1936 г. Бескина была арестована, осуждена как террористка и контрреволюционерка, в лагере расстреляна. Молодая женщина (она погибла 34 лет от роду) была доцентом и членом Союза писателей, хотя вместо образования имела только опыт комсомольской и репортерской работы (см.: *Распяты: Писатели — жертвы политических репрессий* / Сост. З. Дичаров. СПб., 1993. С. 65). Фрейденберг считала, что аспирантка Бескина, "присланная ГПУ", и ее друг Цырлин, интересовавшиеся яфетидологией, были для нее и для Франк-Каменецкого "покровителями". См., в частности: *Бескина А., Цырлин Л.* Марксистская поэтика и новое учение Н.Я. Марра об языке // Литературный Ленинград. 1934. 26 декабря. № 64(86). (Цырлин был впоследствии издательским редактором "Поэтики сюжета и жанра").
- <sup>31</sup> См. Известия. 1936. 28 сект. Статья подписана: Ц. Лейтейзен.
- <sup>32</sup> О диспуте с формалистами в ИЛЯЗВ в 1927 г. О.М. Фрейденберг писала: «То, чему я оказалась свидетелем, взволновало меня в сильнейшей мере. Происходила какая-то дискуссия, выборы куда-то, - я не разбираюсь во всем этом. Но одно было ясно: те, кому я готова была сочувствовать, вели себя грубо, хамски, жульнически, а те, с кем я не имела ничего общего (формалисты), выступали корректно, доказательно и научно. Главное единоборство шло между

- Эйхенбаумом, умно и прекрасно говорившим, и Десницким, за которого приходилось краснеть. Многочисленная аудитория была раскалена. И вдруг, в разгар битвы, Десницкий провел голосование: кто за формалистов, кто против. Вся картина была до того возмутительна по шантажу и грубым передержкам, что я в горячем возбуждении подняла руку за формалистов. Но тут произошло что-то совсем неожиданное. "Большинство против формалистов!" – объявил Десницкий, лживо, не произведя подсчета. — Заседание объявляю закрытым. Прошу всех, кроме выбранных, оставить зал» (Воспоминания. Тетрадь б). Судя по протоколам коллегии ИЛЯЗВ, руководству уже в 1927 г. очень досаждала эта выборность председателей секций, она не позволяла проводить в руководство нужных людей. Так, Эйхенбаума, вопреки воле начальства, избрали председателем группы истории литературы XIX в. См.: СПбГАЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 36. Л. 10-39.
- <sup>33</sup> *Эйхенбаум Б.М.* Лермонтов: Опыт историко-филологической оценки. Л., 1924. В 1926 г., когда Фрейденберг делала доклад о благородном разбойнике в Яфетическом институте, эта книга была еще очень свежей.
- <sup>34</sup> В современной "Лермонтовской энциклопедии" (ст. "Демон") приводится традиционный список литературных источников образа Демона (Сатана Мильтона, Люцифер Байрона, Мефистофель Гёте, падший дух в "Элоа" Альфреда де Виньи, некоторые стихотворения Пушкина и т.д.). При этом утверждается, что Лермонтов "вполне оригинален и в разработке сюжета, и в трактовке главного образа" (с. 130).
- <sup>35</sup> См.: примеч. 7 к докладу О.М. Фрейденберг.
- <sup>36</sup> Дж. Тикнор (его трудом Фрейденберг пользовалась при работе над докладом), в свою очередь, не предполагал существования ни предшественников Кальдерона, ни параллелей к его творению: «сюжет этой драмы ("Поклонение кресту". - Н.Б.), по-видимому, всецело принадлежит фантазии Кальдерона» (*Тикнор Д.* История испанской литературы. М., 1886, Т. 2. С. 322). О знакомстве Лермонтова с Кальдероном мы ничего сказать не можем; в оригинале Лермонтов испанцев не читал, в принципе он мог познакомиться с выполненными Августом Шлегелем и опубликованными в 1803 г. переводами пьес Кальдерона; "Поклонение кресту" стоит первой в этой книге (*Schauspiele des Calderon's.* Berlin, 1803).
- <sup>37</sup> Ср.: *Спасович В.* Байронизм у Пушкина и Лермонтова // *Вестник Европы.* 1888. № 4; *Дашкевич Н.П.* Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова // *Чтения в Историческом обществе Нестора Легописца.* 1893. Кн. 7. С. 182—253; *Дюшен Э.* Поэзия Лермонтова в ее отношении к русской и западноевропейским литературам. Казань, 1914; *Шувалов С.В.* Влияние на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии / Венюк М.Ю. Лермонтову. М., 1914; *Розанов М.Н.* Байронические мотивы в творчестве Лермонтова / Там же.
- <sup>38</sup> *Висковатов П.А.* Михаил Юрьевич Лермонтов // *Русская старина.* 1887. № 10. С. 124.
- <sup>39</sup> См.: *Андроников И.Л.* Лермонтов: Исследования и находки. М., 1967. Гл. Лермонтов в Грузии. С. 283, сл.
- <sup>40</sup> *Лермонтов М.Ю.* Сочинения / Под ред. П.А. Висковатова. М., 1891. Т. 3. С. 117, сл. ("Несколько слов по поводу поэмы "Демон"). Ср.: *Он же.* Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова // *Кавказ.* 1881. № 203. Неточность отсылки к "кавказскому преданию" типична для лермонтоведения. Ср.: *Новиков С.* История возникновения и создания "Демона" Лермонтова. Киев, 1907. С. 15-16: "На Кавказе Лермонтов услышал предание о любви девушки и юноши, между которыми стал злой дух. И в минуту ревности он завалил хижину молодых людей камнями".
- <sup>41</sup> См.: *Гачечиладзе А.* "Демон" Лермонтова и грузинские сказания // *Литература да хеловнеба.* 1948. № 38; ср.: *Андроников И.Л.* Указ. соч. С. 254.
- <sup>42</sup> *Страхова Е.* "Творческий плагиат" Лермонтова в поэме "Демон": Заимствования у Мильтона, Виньи, Байрона, кавказских легенд. М., 1909. С. 9 ел. (брошюра выглядит совершенно несерьезной и в научной литературе не используется, хотя сами по себе сопоставления Страховой ничуть не менее оправданы, чем у академических ученых).
- <sup>43</sup> См. также: *Дункель-Веллинг Н.* Любовь Гуда (осетинская легенда) // *Кавказ.* 1858. № 30.
- <sup>44</sup> См., например: *Завойко К.* Верования, обряды и обычаи великоруса» Владимирской губернии // *Этнографическое обозрение.* 1914. № 3-4; *Манжура И.* К легендам о летающих змеях // Там же.

1892. № 2-3; *Смирнов М.И.* Этнографические материалы по Переяславль-Залесскому уезду Владимирской губернии. М., 1922.
- <sup>45</sup> *Жданов ИМ.* Василий Буславич и Волх Всеславьевич // ЖМНП. 1893. Т. IX-ХН; 1894. ч. Т. II-III.
- <sup>46</sup> Ср. выделение А.В. Михайловым и С.С. Аверинцевым гигантской эпохи так называемой "риторической культуры", начинающейся в античности и завершающейся в XVIII в.
- <sup>47</sup> Доклад Жирмунского был впоследствии опубликован, причем, по мнению Фрейденберг, переработан с учетом ее критики. См.: *Жирмунский В.М.* Проблема фольклора // Сергею Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности, 1882-1932. Л., 1934. С. 195-213. См. также отчет о дискуссии с изложением точек зрения оппонентов: *Азадовский М.К.* О сущности фольклора: Высказывания на дискуссии в Ленинградском Институте речевой культуры 11 июня 1931 // Советская этнография. 1931. № 3-4. С. 241-242.
- <sup>48</sup> См.: *Ковалев С.И.* Яфетическая теория и марксизм. Доклад и прения, состоявшиеся в исторической секции Института марксизма 25 января и 1 февраля 1928 г. // Проблемы марксизма. Л.; 1928. Сб. 1. С. 243-297.
- <sup>49</sup> См.: *Аптекарь В.* Н.Я. Марр и новое учение о языке. М., 1934.
- <sup>50</sup> См.: Там же. С. 97; *Азадовский М.К.* Памяти Н.Я. Марра. 1864-1934 // Советский фольклор. 1936, Вып. 2-3. С. 16.
- <sup>51</sup> Едва ли Азадовский именует здесь "формализмом" направление опоязовского толка, скорее, саму по себе фундаментальность и "далековатость" авторов "Тристана" от "содержательного", т.е. оценочно-идеологического разбора фольклора.
- <sup>52</sup> Можно предложить, по крайней мере, одну кандидатуру в прототипы "аспиранта". Это - Н.Я. Берковский (1901-1971). Он был сверхштатным аспирантом ИЛЯЗВ в конце 20-х годов, в ГИРК появился в 1930 г., а в 1931 г. уже руководил западноевропейским отделом института. В годы своего аспирантства, период активного участия в РАПП и журнале "На литературном посту" пытался создать "теорию классовой семантики искусства" (см.: *Белая Г., Тимина С.* Диалектика "игры" и "смысла" в критике Н. Берковского // Н. Берковский. Мир, создаваемый литературой, М., 1989. С. 5). Кино Берковский не занимался, но был известным театральным критиком и писал, в частности, о мейерхольдовской постановке "Ревизора". "Демон"- "Ревизор" из сна Фрейденберг, как она утверждает в процитированных выше "Воспоминаниях", представлял "одновременность сходства", т.е. никак не выстроенное соположение разновременных и разно-культурных образов и мотивов. "Аспирант", напротив, выстраивает образы в стадильную, социологически и исторически мотивированную цепочку. Между тем претензии Берковского к "Ревизору" Мейерхольда можно было бы прочитать как претензии "аспиранта" к "Первому сну" Ольги Михайловны". "Напостовская" статья Берковского, реагирующая в основном на постановку "Ревизора", завершалась требованием "иррациональные мейерхольдовские приемы отдавать на смысловое переоборудование" (Мейерхольд и смысловой спектакль // На литературном посту, 1929. № 2. С. 45). Другим прообразом "аспиранта" мог бы послужить Адриан Пиотровский, теоретик искусства и автор сценариев, принадлежавший, однако, к тому же поколению, что и сама Фрейденберг.
- <sup>53</sup> Ср. о переводе слов официального и/или девтероканонического языка Бахтина на аутентичный комментарий В.Л. Махлина: *Волошинов В.Н.* Фрейдизм. М., 1993. С. 112-113 (Серия "Бахтин под маской. Маска первая").
- <sup>54</sup> «Мысль работала у меня именно в направлении связи явлений, и я не могла излагать формально-следственно, потому что ультрафиолетовые лучи мысли вызывали свечение одновременно в различных слоях фактов, и не было такого умственного метода, который мог показывать одну и ту же вещь в излучении тысячи связей. Я бросалась туда, сюда, нагромождала факты. Две черты так и остались у меня: отсутствие всякой "воды", делавшее мои работы не читабельными, и неумение живописать, давать картину готового явления, - за что я жестоко впоследствии пострадала. Я была шахтером, но не строителем, и это мне не прощалось в мой век, когда воссоздательный метод считался единственным методом науки» (Воспоминания. Тетрадь 3-4. С. 130).
- <sup>55</sup> В Мейерхольдовском "Ревизоре", прообразе постановки "Демона" из сновидения, не только была

"монтажно" устроена сцена, самый текст пьесы представлял из себя объединение различных гоголевских текстов и вариантов.

<sup>56</sup> См., в частности: Ямпольский М.Б. Сандрар и Леже: К генезису кубистического монтажа / Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988.

<sup>57</sup> Иванов Вяч.Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX века / Там же. С. 119-148.

<sup>58</sup> Цит. по: Иванов Вяч.Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. С. 69.

<sup>59</sup> "...Монтаж есть вовсе не столько *последовательность* ряда кусков, сколько их *одновременность*: в сознании воспринимающего кусок ложится на кусок и несовпадение их цвета, света, очертаний, размеров, движений и пр. и дает то ощущение динамического толчка и рывка, который служит основой ощущения движения - от восприятия простого *физического движения* к сложнейшим формам *движения внутри понятий*, когда мы имеем дело с монтажом метафорических, образных или понятийных сопоставлений" (см.: Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 377).